

ПРИЛОЖЕНИЕ I

НЕСТОР КУКОЛЬНИК <ЗАПИСНАЯ КНИЖКА>

Князь Меншиков, защитник Севастополя, принадлежал к числу самых ловких остряков нашего времени. Как Гомер, как Иппократ, он сделался собирательным представителем всех удачных остроумцев. Жаль, если никто из приближенных не собрал его остроумств, потому что они могли бы составить карманную скандальную историю нашего времени. Шутки его не раз навлекали на него гнев Николая и других членов императорской фамилии. Вот одна из них.

В день бракосочетания нынешнего Императора в числе торжеств назначен был и парадный развод в Михайловском манеже. По совершении обряда, когда все военные чины ...(слово не разобрано – *Е.К.*) одевали верхнюю одежду, чтобы ехать в манеж, – Странное дело, – сказал кому-то кн<язь> М<еншиков>: "не успели обвенчаться и уже думают о разводе".

Граф Закревский, вследствие какого-то несчастного случая, принял одну из тех мудрых мер, которые составляют характеристику его генерал-губернаторствования. Всесиятельнейше повелено было, чтобы все собаки в Москве ходили не иначе как в намордниках. Случилось на это время к<нязю> М<еншикову> быть в Москве. Возвратясь оттуда, к<нязю> повстречался с Киселевым и на вопрос: Что нового в Москве, – Ничего особенного, - отвечал, - Ах, нет! Виноват, есть новинка. Все собаки в Москве разгуливают в намордниках, только собаку Закревского я вижу без намордника. .

Князь Меншиков, пользуясь удобствами железной дороги, часто по делам своим ездил в Москву. Назначение генерал-губернатором, а потом и действия Закревского в Москве привели белокаменную в ужас.

Возвратясь оттуда, кн<язь> М<еншиков> повстречался с гр<афом> Киселевым.

– Что нового? – спросил К<иселев>.

– Уж не спрашивай! Бедная Москва в осадном положении.

К<иселев> проболтался, и ответ М<еншикова> дошел до Николая. Г<осударь> рассердился:

– Что ты там соврал Киселеву про Москву, – спросил у М<еншикова> Г<осударь> гневно.

– Ничего, кажется...

– Как ничего! В каком же это осадном положении ты нашел Москву?

– Ах, Господи! Киселев глух и вечно недослышит. Я сказал, что Москва находится не в

осадном, а в досадном положении.

Государь махнул рукой и ушел.

Падение Клейнмихеля во всех городах земли Русской <произвело> самое отрадное впечатление. Не многие заслужили такую огромную и печальную популярность. Низвержению Клейнмихеля радовались словно неожиданному семейному празднику. Я узнал об этом вожделенном событии на Московской железной дороге, на станции, где сменяются поезда. Радости, шуткам, толкам не было конца, но пуще других честил его какой-то ражий и рыжий купец в– Да за что вы его так ругаете? – спросил я. – Видно, он вам насолил.

– Никак нет! Мы с ним, благодарение Господу, никаких дел не имели. Мы его, Бог помиловал, никогда и в глаза не видали.

– Так как же вы его браните, а сами-то и не видали...

– Да и черта никто не видел, однако ж поделом ему достаётся. А тут-с разницы никакой.

В Петербурге, в Гостином дворе, купцы и сидельцы перебежали из лавки в лавку, поздравляли друг друга и толковали по-своему.

– Что это вздумалось Государю? – спросил кто-то из них.

– Простое дело, – отвечал другой. – Времена плохие. Военные дела наши дурно идут. Россия Матушка приуныла. Государь задумался: что тут делать? Чем мне ее, голубушку, развеселить и утешить? Дай, прогоню Клейнмихеля...

– В этом или том пункте парижских конференций, – сказал кто-то, – должно <быть> что-нибудь вредоносное для России.

– Само собою разумеется. Союзники в этом пункте требуют уничтожения в России тарифа и восстановления Клейнмихеля.

Надпись к портрету

Он <столько> лет путями правил

Без всякого пути, без всяких правил.

После Венгерского похода кому-то из участвовавших в этой кампании пожалован был орден Андрея Первозванного и в тот же день и тот же орден дан Клейнмихелю.

– Да за что же Клейнмихелю? – спросил кто-то.

– Очень просто: тому за кампанию, а Клейнмихелю для компании.

При построении постоянного через Неву моста несколько тысяч человек были заняты бойкою свай, что, не говоря уже о расходах, крайне замедляло ход работ. Искусный строитель, генерал Кербец поломал умную голову и выдумал машину, значительно облегчившую и ускорившую этот истинно египетский труд. Сделав опыты, описание машины он представил Главноуправляющему путей сообщения и ждал по крайней мере "спасибо". Граф Клейнмихель не замедлил утешить изобретателя и потомство. Кербец получил на бумаге высочайший и строжайший выговор: зачем он этой машины *прежде* не изобрел и тем ввел казну в огромные и напрасные расходы.

Судьба наших комендантов замечательна. Как все острое приписывалось к<нязю> М<еншикову>, так все глупое относилось к комендантам, и все нелепости, как наследство, переходили от одного к другому, так что не разберешь, что принадлежит Башуцкому, а что Мартынову. К числу таких спорных анекдотов принадлежал и нижеследующий.

Приказано было солдатам развод назначать в шинелях, если мороз выше десяти градусов. К Мартынову является плац-майор.

– А сколько сегодня градусов?

– Пять.

– Развод без шинелей.

Но пока наступило время развода, погода подшутила. Мороз перешел роковую черту. Государь рассердился и намылил коменданту голову.

Возвратясь домой, взбешенный Мартынов зовет плац-майора:

– Что вы это, Милостивый Государь, шутить со мною вздумали? Я с вами знаете, что сделаю?! Я не позволю себя дурачить. Так пять градусов мороза было?! А?

– Когда я докладывал Вашему превосходительству, тогда термометр показывал...

– Термометр-то показывал, да вы-то соврали. Так чтоб больше этого не было, извольте, Милостивый Государь, вперед являться ко мне с термометром. Я сам смотреть буду у себя в кабинете, а не то опять выйдет катавасия.

Был какой-то высокаторжественный день. Весь двор только что сел за парадный стол, Башуцкий стоял у окна с платком в руках, чтобы подать сигнал, когда придется виват из крепости палить. Нарышкин, как гофмаршал, не сидел за столом, а распоряжался.

Заметив важную позу коменданта, Нарышкин подошел к нему и сказал:

– Я всегда удивляюсь точности крепостной пальбы и, как хотите, не понимаю, как это вы делаете, что пальба начинается всегда вовремя...

– О помилуйте !!! – отвечал Башуцкий. – Очень просто: я возьму да и махну платком вот так!

И махнул заправду, вследствие чего из крепости поднялась пальба, к общему удивлению, еще за супом. Всего смешнее было то, что Башуцкий не мог понять, как это могло случиться и собирался после стола сделать строгий розыск и взыскать с виновного.

– Г<осподин> Комендант! – сказал Александр в сердцах Башуцкому. – Какой у вас порядок? Можно ли себе представить? Где монумент Петру Великому?..

– На Сенатской площади.

– Был да сплыл! Сегодня ночью украли. Поезжайте разыщите!

Башуцкий, бледный, уехал. Возвращается веселый, довольный; чуть в двери кричит:

– Успокойтесь, Ваше Величество! Монумент целехонек, на месте стоит! А чтобы чего на самом деле не случилось, я приказал к нему поставить часового.

Все захохотали:

– Первое апреля, любезнейший.

– Первое апреля, – сказал Государь и отправился к разводу.

На следующий год, ночью, Башуцкий будит Государя: пожар.

Александр встает, одевается, выходит, спрашивая:

– А где пожар?

– Первое апреля, Ваше В<еличество>. Первое апреля.

Государь посмотрел на Башуцкого с соболезнованием и сказал:

– Дурак, любезнейший, и это уже не первое апреля, а сущая правда.

Еще до Мартынова слава комендантская была упрочена.

На Эрмитажном театре затеяли играть известную пьесу Коцебу: Рогус Пумперникаль.

– Все хорошо... – сказал кто-то: да как же мы во дворец осла-то проведем...

– Э, пустое дело! – отвечал Нарышкин. – Самым натуральным путем – на комендантское крыльцо.

Мартынов, знаменитый комендант, будучи еще ротным командиром, отличался в полку глупостью. В том же полку служил А.Н.Семенов, давно умерший, весьма талантливый молодой человек. Мартынов составлял его забаву. Семенов переделал на него целую оду "Бог". Жалею, что у меня пропал экземпляр мастерской пародии.

После какого-то печального парада Мартынов уверял, что солдаты были умилены до слез церемонией, и восхищался, как русский солдат глубоко чувствует.

– Ну, что ты сегодня чувствовал на параде?

– Правое плечо товарища! – отвечал тот.

Несмотря на то, что Семенов беспрестанно трунил над Мартыновым, этот весьма уважал ученого своего товарища и в обществах часто повторял целиком <его> строчки.

За столом как-то между своими зашла речь про водевили, которые тогда только что стали появляться.

– Представьте! – сказал Семенов. – У нас водевили русские появились гораздо прежде, чем во Франции.

– Как так!

– А "Мельник"? Настоящий и превосходный водевиль.

– Правда!

Мартынов замотал на ус и при первом случае, в обществе, когда речь зашла про водевили, окрылился знаниями и торжественно воскликнул:

– Помилуйте! что тут нового? Водевиль есть русское слово.

– Как русское слово?

– Да-с! А "Мельник"? Что, не правда... (не разобрано – *Е.К.*) русское слово.

Все посмотрели друг на друга значительно и, пожав плечами, переменили предмет разговора.

Мартынов, торжествующий... (не разобрано – *Е.К.*), вероятно и умер в полном убеждении, что водевиль – русское слово.

Мартынов, впоследствии комендант, командовал полком, в котором музыка была отличная, а в хоре этом превосходный кларнетист Ребров. Хор этот как-то играл в присутствии Императорской фамилии. Натурально Мартынов вертелся тут же, хвостом юлил и, желая угодить и удивить, побежал заказать какую-то пиэсу с кларнетным соло.

– Где Ребров?

– Реброва нет сегодня... – отвечал кто-то вроде капельмейстера.

– Как нет? Где же он?

– Да он амбушюр потерял.

– Что такое? ты чего смотришь? Даешь ему казенные вещи терять? Завтра же на твой счет купить велю. Воры этакие!

При Екатерине обер-полицмейстером был одно время Рылеев, такой же Башуцкий, такой же Мартынов, как и все коменданты.

Однажды при утреннем рапорте Рылеев застаёт Екатерину глубоко опечаленною.

– Ах, батюшка, вот несчастье. Прикажи, пожалуй, с Сутгофки (Сутерланда) кожу содрать и набить чучело, да и поискуснее, сей час!...

И государыня ушла.

Пораженный словно громом Рылеев не верит ушам; проходит камердинер императрицы.

– Уж полно ли так ли я слышал. Неужто Сутгоф?

– Правда, правда, приказано кожу содрать и чучело набить. Вас только и ждали.

– Да за что же?

Но камердинер уже ушел. Нечего делать; надо было приступить к исполнению Высочайшей воли. Рылеев, скрепя сердце, берет жандармов, оцепляет дом Сутгофа и ни жив, ни мертв входит к испуганному банкиру.

– Что такое случилось, генерал?

– Вы должны лучше знать. Я только палач, а вы преступник. Пожалуйте за мной. Я скрывать перед вами ничего не стану. Приказано с Вас кожу содрать...

– Кожу содрать!..

– Решительно!

Поднялся во всем доме плач и скрежет зубов. Жена, пять человек детей, банкир и сам Рылеев все плакали навзрыд. Сутгоф, известный честностью и домашними добродетелями и постоянной милостью у Екатерины, не мог понять причины такого страшного гнева и такого странного приговора. Он объяснил Рылееву, что тут есть какое-нибудь недоразумение, и ему стоит только явиться к государыне, ивыгнал жену и детей. Приставил караул к воротам, крыльцу и выходам, а сам поехал во дворец.

Государыня, печальная, гуляла в Эрмитаже. Приезд об<ер>-пол<ицмейстера> по экстренно важному делу еще более ее обеспокоил. – Зовите! Что там еще случилось?

Входит Рылеев и бух в ноги.

– Матушка-Государыня, помилуй! Повинную голову меч не сечет. Преступник не уйдет, я принял меры. Но выслушай!..

– Что такое? Растолкуй порядочно...

– Жена, пятеро детей, как стали выть, разжалобили.

– У кого это?

– У Сутгофа! У того банкира, что ты всемилостивейше повелела с живого кожу содрать...

Государыня не могла удержаться от смеха: "Перепутал опять, батюшка! За кого ты меня принимаешь, чтобы с живых кожу сдирать. Я велела содрать кожу и чучело набить с той милой собаченки, которую мне год тому назад Сутгоф из-за моря достал! Поди, батюшка, перестань страдиться!..."

Александр Гумбольдт приехал в Петербург с тем, чтобы отправиться в известное путешествие в Ср<еднюю> Азию. По пути его туда через Россию было отправлено циркулярное предписание, коим министерство по Высочайшему повелению приказывало местным властям: г<осподина> барона фон Гумбольдта везде принимать и считать за Полного Генерала.

Сенатор Безродный с 1811 года был правителем канцелярии главнокомандующего Барклая де Толли. Ермолов за чем-то ездил в главную квартиру. Воротясь, на вопрос товарищей: "Ну что, каково там?" – "Плохо, – отвечал Ермолов, – все немцы, чисто немцы. Я нашел там одного русского, да и тот Безродный."

Академия надписей

Нет публичного монумента, на счет которого народ не выразил бы своего мнения, разница в том, что, выраженное остроумно, оно остается в народном предании. Так про Исаакиевский Собор при Павле, повелевшем достроить его наскоро кирпичем, ходила эпиграмма:

Вот памятник двух царств и обоим приличный.

Низ мраморный, а верх кирпичный.

При Александре ту же эпиграмму изменили так:

Вот памятник, трех царств изображение!

– Порфир, кирпич и разрушение.

Из эпиграмм на монументы лучшая на памятник Кутузову и Барклаю:

Барклай де Толли и Кутузов

В 12-м году морозили французов.

А ныне благородный Росс

Поставил их самих без шапок на мороз.

На новый монумент Николаю Павловичу ходят две надписи:

Фельдфебелю – портной

и другая, так как памятник строят у Исаакия, в петровских, так сказать, владениях:

Далеко Кулику до Петрова дня.

Пушкин надписал к портрету Екатерины:

Она жила немного блудно

И умерла, садясь на судно.

Est fatum im rebus. В день закладки монумента Николаю, Чевкин, поднося Государю ящик с монетами, которые должны лечь в основание, поскользнулся и упал в яму. Молоточек, которым должны были поколачивать почетное основание, то и дело сваливался с топорща. Во время долголетия военная музыка играла веселый шумный вальс, но затянули Вечную память, и музыканты ни с того, ни с сего заиграли опять тот же веселый марш.

Когда расходились с церемонии, – "Плохие предзнаменования", – сказал кто-то.

– Ничуть! Во всем этом я вижу только то, что сам покойник с того света сознается, что не следует... <воздвигать ему памятник>

Рассеянность и суетливость Горчакова были непритворны; к сожалению, этим недостаткам мы обязаны под Севастополем многими печальными последствиями. Напротив того, задумчивость фельдмаршала Паскевича осталась в сильном подозрении. Кажется, он искал выказать оригинальность, которой не имел. Много тому есть доказательств, к сожалению, даже не анекдотических. Один только (?) нижеследующий случай сколько-нибудь возвышается до анекдота.

В Колпине назначены были маневры; ожидали туда короля Прусского и императора Австрийского. Последний наконец приехал, чуть свет. Надобно было написать по этому случаю какую-то бумагу.

Между тем в приемной у фельдмаршала собралась толпа генералов, штаб и обер-офицеров, все ждут его выхода, ждут долго. Вдруг двери открываются, – вбегает Горчаков в суете, с чернильницей в руках, за ним, тоже бегом, в штанах и рубашке фельдмаршал, в одной руке – перо, в другой... (слово не разобрано – *Е.К.*) ... Бегают по зале от одного генерала <к другому> и один перед другим кричат во все горло:

– Как зовут австрийского императора?

Забыли.

Незабвенный Мордвинов, Русский Вашингтон, измученный бесполезной оппозицией, вернувшись из Государственного Совета недовольный и расстроенный.

– Верно, сегодня у вас опять был жаркий спор?

– Жаркий и жалкий! У нас решительно ничего нет святого. Мы удивляемся, что у нас нет предприимчивых людей, но кто же решится на какое-нибудь предприятие, когда не видит ни в чем прочного ручательства, когда знает, что не сегодня, так завтра по распоряжению правительства его законно ограбят и пустят по миру. Можно принять меры противу голода, наводнения, противу огня, моровой язвы, противу всяких бичей земных и небесных, но противу благодетельных распоряжений правительства - решительно нельзя принять никаких мер.

Бутурлин был нижегородским военным губернатором. Он прославился глупостью и потому скоро попал в сенаторы. Государь в бытность свою в Нижнем сказал, что он будет завтра в Кремле, но чтобы об этом никто не знал. Бутурлин созвал всех полицейских чиновников и объявил им о том под величайшим секретом. Вследствие этого Кремль был битком набит народом. Государь, сидя в коляске, сердился, а Бутурлин извинялся. Тот же Бутурлин прославился знаменитым приказом о мерах противу пожаров, тогда опустошавших Нижний. В числе этих мер было предписано домохозяевам за два часа до пожара давать знать о том в полицию.

Случилось зимою возвращаться через Нижний в столицу большому хивинскому посольству. В Нижнем посланник, знатная особа царской крови, занемог и скончался. Бутурлин донес о том прямо Государю и присовокупил, что чиновники посольства хотели взять тело посланника дальше, но он на это без разрешения высшего начальства не мог решиться, а чтобы тело посланника, до получения разрешения, не могло испортиться, то он приказал покойного посланника, на манер осетра, в реке заморозить. Государь не выдержал и назначил Бутурлина в сенаторы.

Генерал Киселев отличался особенного рода цинизмом. Про него <есть> много рассказов, смешных, если знаешь личность; сюда принадлежит один следующий.

Сын его только что вышел из Пажеского корпуса и попал в семью, где была зрелая и не больно благообразная невеста. Мальчика тотчас надули, уверили, что он влюблен, довели до объяснения, пошло дело на женитьбу.

– Позвольте, батюшка, жениться...

– Раненько! Ну, да если хорошая девушка... по мне пожалуй!

Расспросив обо всех подробностях, отец неведомо от сына отправляется к невесте, находит ее и старую для сына, и безобразною.

Поговорив с нею недолго, Киселев так и закончил и беседу и сватовство:

– Нет! Жениться нельзя! Вы, сударыня, по душе может быть и богородица, но по лицу вы – стерва.

А.С.Шишков любил рассказывать о первом своем подвиге храбрости. Обер-гофмаршалом тогда был гордый князь Борятинский, а Потемкин на вершине величия.

Случилось, что Шишкова, молодого тогда офицера, назначили в караул во дворец. Камер-лакей, а тогда камер-лакеи больше значили и больше важничали, чем нынешние камергеры, так один из таких придворных чинов, которому было поручено заботиться о продовольствии караулов, как-то не угодил Шишкову. Заспорили. Дошло дело до крупных выражений. Шишков, не долго думая, принял камер-лакея в руки и поколотил по звонку. Позволь одному, пойдут буяннить. Я их заставлю уважать законы Ее Величества. Завтра же доложу Государыне..."

И гнев князя огласился по всему дворцу и достиг до караульной. Шишков уразумел непристойность поступка и опасность. Что тут делать? Кто может за него вступить? Кого послушает Борятинский? Разве одного Потемкина?

И, не долго думая, Шишков отправляется к Потемкину, со всею откровенностию рассказывает, как дело было, говорит об опасениях его на счет опасности, завтра ему угрожающей, и просит заступничества Потемкина.

Вероятно, и офицер, и его речи понравились Потемкину.

– Плохо, брат! Накутил! Сдебошничал! Ну, да постой! Кстати, у меня сегодня вечер. Все будут, приходи и ты, да будь посмелее. Понял?

– Понял, Ваша Светлость!

– Ну так к вечеру милости просим.

– Рады стараться, Ваша Светлость!

Наступил вечер. Шишков дал собраться гостям и явился, когда Потемкин уже сидел за бостоном с тем же Борятинским, Вяземским и Разумовским.

– Уже играет! – сказал громко Шишков, войдя в залу. Смело и развязно подошел он к светлейшему, дружески ударил его по плечу.

– Здравствуй, князь, – сказал он так же непринужденно, затем бросил шляпу на мраморный подоконник и, закинув руки назад, с важностью стал ходить по комнате.

Потемкину вся эта проделка пришлась по сердцу. Он наслаждался, видя эффект, произведенный выходкой Шишкова. В душе презирая человечество, он был рад видеть новые его подлости и унижения, а потому не желал, чтобы дерзость Шишкова была принята за припадок безумия, поспешил и со своей стороны дал шутке важность и значение правды.

– Шишков! – сказал князь, – поди-ка сюда! Посмотри на мою игру. Курьезная! Как ты думаешь, что мне играть?..

– Отвяжись, сделай милость. Играй себе, что хочешь.

– Ну так гран мизер...

И не его поймали, а он поймал за рога человеческую подлость. История с камер-лакеем была забыта, и с месяц еще Шишкова считали фаворитом и низко ему кланялись.

Самойлов Дурака играл когда-то в "Лире".

Теперь он взял другую роль.

И из Шута вдруг сделался Король.

Вот так-то все превратно в мире.

Коль призадуматься, уверишься в одном

(Но только это между нами),

Что и Дурак быть может Королем,

И Короли быть могут Дураками.

Один из лучших артистов II-го класса, Максимов I-й, вследствие усердного поклонения стеклянному богу, дошел до такой худобы, что поистине остались только кожа да кости, так что когда после смерти Каратыгина он затеял играть роль Гамлета, артисты смеялись и хором советовали ему взять лучше в той же пиесе роль тени.

В Красном Селе, где находился постоянный лагерь гвардии, устроили театр, на котором играли (не разобрано – *Е.К.*)... петербургские артисты; а коли им жить там было негде, то и для них на случай приезда построили домики, кругом коих развели палисадники. Наследник, нынешний государь, проездом остановился у этих домиков. Самойлова, Петр Каратыгин, Максимов и другие артисты выбежали на улицу.

– Поздравляю с новосельем, – сказал наследник, – хорошо ли вам теперь?

– Прекрасно, – отвечала Самойлова. – Жаль только, что не достает тени.

– Как не достает? – перебил Каратыгин, – а Максимов?

Театральные чиновники теперь тайком, а прежде открыто снабжали своих знакомых креслами, ложами и всякими местами в театре бесплатно.

К Неваховичу беспрестанно ходил один проситель, искавший места в штате дирекции. Невахович, разумеется, обещал и, разумеется, не исполнил. Проситель был так настойчив, что Нев<ахович> стал от него прятаться. Не находя никогда <его> дома, проситель забрался за кулисы и там поймал-таки Неваховича. Тот успел уже все позабыть.

– Что вам угодно? – спросил Нев<ахович> второпях.

– Как что угодно? Места.

– Места? Эй, капельдинер, проводи их в места за креслами.

– Вы шутите, Александр Львович! Я человек семейный.

– Семейный? Ну так проводи их в ложу второго яруса.

26 августа 1856 года проходил юбилей существования столичного русского театра. Вспомнили об этом в мае, а в июне объявили конкурс для сочинения приличной пьесы на этот случай. Разумеется, пьес <было> доставлено слишком мало; пальму первенства получил Соллогуб. Встретясь с П.А.Каратыгиным, увенчанный автор упрекал его, зачем и он не написал чего для юбилея.

– Помилуйте! В один месяц! И не я один! Многие и пера в руки не брали.

К тому же в такое время, когда в Петербурге разброд, кто в деревне, кто за границей! Да еще в такой короткий срок!

– Да отчего же другие успели и прислали.

– *Не дальние* прислали, а прочие не могли.

Петр Каратыгин вернулся из поездки в Москву. Знакомый, повстречавшись с ним, спросил:

– Ну что, П<етр> А<лександрович>, Москва?

– Грязь, братец, грязь! То есть не только на улицах, но и везде, везде – страшная грязь. Да и чего доброго ожидать, когда и обер-полицмейстером-то – Лужин.

Была пословица у римского народа:

Sit dura lex, set lex.

У нас и дура – Лекс и Лекс – дурак.

По случаю Чесменской победы в Петропавловском соборе служили торжественное благодарственное молебствие. Проповедь на случай говорил <митрополит> Платон. Для большего эффекта призывая Петра, Платон сошел с амвона и посохом стучал в гроб Петра, взывая: "Встань, встань, Великий Петр, виждь..." и проч.

– От то дурень, – шепнул Разумовский соседу, – а ну як встане, всем нам палкой достанется.

Когда в обществе рассказывали этот анекдот, кто-то отозвался: "И это Разумовский говорил про времена Екатерины . Что же бы Петр сказал про наше и чем бы взыскал наше усердие?.."

– Шпицрутеном, – подхватил другой собеседник.

Не всякий главнокомандующий умеет сохранить в тайне свои намерения. По крайней

мере, русские генералы последнего времени этим не отличались. Не говорим уже про покойного Дибича, но о несчастном деле, в котором погибли Реад, Вревский и прочие, за месяц до рокового дня – за тысячу верст, у нас в Ростове знали о плане этого бедственного нападения. Вельяминов понимал важность военной тайны. Его слабости здоровья он не мог ездить верхом. За тем уже следовал отряд. Однажды Малиновский, любимец Вельяминова, во время такого похода подкакал к дрожкам и спросил:

– Алексей Александрович! Куда мы это идем?

– Не знаю, – отвечал тот с обычной сухостью, – спросите у барабанщика, он нас ведет.

В<еликий> К<нязь> Михаил Павлович считал себя остроумным. Каламбуры иногда ему удавались. К числу таких принадлежит и этот.

Фр<анцузская> актриса Бурбье изменила своему любовнику актеру Полю и поступила на содержание Павла Николаевича Демидова. Вдруг разнесся слух, что Бурбье уезжает за границу.

– Ничего нет удивительного, – заметил В<еликий> К<нязь>. – Она любит переходить d'une Paul (Pôle) á l'autre.

Про кн<язя> Чернышева

Жена одного важного генерала, знаменитого придворною ловкостью, любила, как и сам генерал, как и льстецы, выдавать <его> за героя, тем более что ему удалось в кампанию 14 года с партией казаков овладеть, т. е. занять никем не защищаемый дрянной немецкий городок. Жена, заехав с визитом к другой даме, рассказывала эпопею подвигов своего Александра Ивановича. Чего там не было: Александр разбил того, Александр удержал грудью целую артиллерию, Александр взял в плен там столько-то, там еще больше, так что если сосчитать, то из пленных выходила армия больше Наполеоновской 12 года; Александр взял город... И на беду забыла название: "Как бишь этот город; вот так в голове и вертится. Боже мой, столичный город; вот странно; из ума вон..."

В затруднении она оглянулась и заметила другого генерала, который сидел между цветов и перелистывал старый журнал.

– Ах, князь, – обращаясь к нему, сказала генеральша, – вот вы знаете, какой это город взял Александр?

– Вавилон.

– Что вы это?! Я говорю про моего мужа Александра Ивановича. – А я думал, что про Александра Македонского.

Ив<ан> Максимович Ореус, любимец Канкрин, человек деловой и умный, служил себе в звании директора Заемного банка в тишине и смирении.

Государь изобрел себе сам министра финансов Федора Павл<овича> Вронченку, и когда В<еликий> К<нязь> М<ихаил> П<авлович> изъясил на этот счет удивление, Государь сказал: "Полно, брат! Я сам министр финансов, мне нужен только секретарь для очистки бумаг".

И Вронченко совершенно соответствовал цели. Но для очистки им же самим заведенного порядка надо было приискать Высочайше товарища <министра>. Государь взял список чиновников м<инистерства> ф<инансов> и давай читать: все мошенник за мошенником. Натывается на тайного советника Ореуса.

– Как это я его совсем не помню. Дай расспрошу.

– Но у кого ни спросит, никто решительно не знает.

"Должно быть, честный человек, если никому не кланялся и добился до такого чина".

Рассуждение весьма правильное, и Ореус назначен товарищем министра. Назначение не только не обрадовало, но оскорбило Ореуса. Раздосадованный, он приезжает к Вронченке.

– Как вам не стыдно, Ф<едор> П<авлович>! Вы надо мной жестоко подшутили. Ни мои правила, ни род жизни, ни знакомства не соответствуют должности. Ну сами подумайте: какой я товарищ министра?

– Эх, Иван Максимович, – отвечает Вронченка, – да я-то сам какой министр?

Это изумило и убедило Ореуса. Он принял должность, но не выдержал и в самом непродолжительном времени снова погрузился в тень прежней неизвестности.

К числу наших остряков можно смело отнести Михаила Львовича Неваховича, издателя "Ералаша". Он сохранил большую часть своих острот для потомства в остроумных рассказах. Истощив запас забавных явлений, Невахович поехал в Москву набирать сюжеты для следующей тетради "Ер<алаша>".

Случилось, что и кн<язь> М<еншиков> в то же время был в Москве, и остряки повстречались в Англ<ийском> клубе.

– Ба-ба! Вы тут зачем? – спросил князь.

– За ремонтом, Ваша светлость! За ремонтом.

Трощинский был в большой милости у Александра. Государь собрал Г<осударственный> Совет и объявил, что он собирается ехать в армию и будет сам предводительствовать войсками.

Льстецы восхваляли намерение Александра. Один Трощинский молчал.

– Как же вы думаете? – спросил Гос<ударь>, обращаясь к Т<рощинскому>.

– Ваше Величество! – отвечал тот. – Русский народ отвык верить неудачам. Если генерал проиграл баталию, р<усский> народ громогласно несчастье приписывает измене

генерала, но если баталию проиграет сам Г<осударь>, что тогда в утешение останется Вашему народу?

– Но помилуйте! Разве я первый! Сколько русских государей вели полки свои к победе. Петр Великий всегда сам предводительствовал войсками.

– О! да то же был Петр Великий, – задумчиво, не спохватясь сказал Трощинский.

Последствия известны: Аустерлиц и опала Трощинского.

Неваховичи – происхождения восточного. Меньшой, *Ералаиш*, и не скрывал этого, говоря, что все великие люди современные – того же происхождения: Майербер, Мендельсон, Бартольди, Ротшильд, Эрнст, Рашель, Канкрин и прочие. Старший Невахович был чрезвычайно рассеян. Случилось ему обещать что-то Каратыгину 2-му, и так как он никогда не исполнял своих обещаний, то и на этот раз сделал то же...

При встрече с Каратыгиным он стал извиняться.

– Виноват, тысячу раз виноват. У меня такая плохая память!.. Я так рассеян...

– Как племя Иудейское по лицу земному, – закончил Каратыгин и ушел.

В Петербурге были в одно время две комиссии. Одна – составления законов, другая – погашения долгов. По искусству мастеров того времени надписи их на вывесках красовались на трех досках. В одну прекрасную ночь шалуны переменили последние доски. Вышло: Комиссия составления долгов и Комиссия погашения законов.

У одного барина, по имени Барышева, было шесть перезрелых дочерей; меньшей уже было 27 лет; все нехороши собой. Один шутник, увидев их на бале, сказал:

Нет! Зла против добра

На свете вдвое есть.

Так Граций только три,

А Барышевых шесть.

Воротясь из театра, три приятеля, отдыхая, пили чай и толковали про спектакль.

– Мне больше понравился водевиль, – сказал первый.

– Как можно. Решительная глупость; вот драма, так дело иное; и занимательно и поучительно.

– Тоска, скука, насилие дозевал до конца, а водевиль...

– Балаган, не правда ли?

Третий, уписывая булку с чаем, видел, что ему надо решить спор и объявить решение. С приличною третейскому суду важностью, он торжественно произнес:

– Везде хорошо, где нас нет.

Подобные ответы назывались прежде á rgoros.

á rgoros в анекдотах вещь важная; <вспомнишь> á rgoros одного анекдота, вспомнишь другой, и часто целый вечер сыплются анекдоты, будто с неба. Вот еще один á rgoros.

Барышня играла на фортепьяно, а гость поместился возле и с особенным вниманием слушал музыку, смущая девушку больно пламенными взорами. Она не выдержала и, чтобы прервать это немое объяснение в любви, спросила с живостью:

– Вы верно очень любите музыку?

– Нет! Терпеть не могу, а вот у меня есть брат, так тот тоже музыки терпеть не может.

Что такое анекдот? Старик Болдырев, казак донской, рассказывая про знаменитого Зотова, все похвалы о нем заключал тако: это был не человек, а просто *анекдот*. С тех пор я совершенно понимаю значение слова и начинаю рассказывать анекдоты *rêle-mêle*, как придется, а при ист<орических> <лицах> <делаю> и заметки. О чем бы рассказать сегодня? С послед (так в тексте – *Е.К.*) не слышанного начнем.

Был барин толстый и ленивый, человек исполнял за него половину обязанностей, чуть не ел за него. Пошел барин спать:

– Раздень меня. – Раздел человек и повернул спиной к постели.

– Толкни. – Толкнул и закинул на постель ноги.

– Перекрести. – Перекрестил...

– Поверни на другой бок. – Перевернул и закрыл плотно одеялом.

– Ну, ступай себе, теперь я как-нибудь и сам засну.

Отделение второе

АНЕКДОТЫ ДЛЯ ОДНОГО МУЖСКОГО ПОЛА

Попадья требовала развода, утверждая, что у ее мужа нет супружеского рычага, а только шишка вроде пуговики.

Нарядили следствие; поп уговорил диакона стать за ширму и вывалить свой рычаг.

Судьи рассердились на попадью.

– Экая ненасытная, – воскликнул старший член консистории, – мало тебе этого?..

– Да кого он морочит? – закричала попадья. Будто я и не знаю. Ведь эта машина-то не мо<его>, а отца диакона.

Яков Иванович Ростовцев возвысился на степень министра особого рода. Едва ли не в одной России образовалось два министерства просвещения – народного и армейского, независимо от многих других мелкопоместных, как-то: Духовного, Морского, Купеческого, Юридического, Путейного и т.д. Армейским министерством занимался первоначально один из адъютантов Михаила Павловича. Так попал на это место и Ростовцев. Особую милость к нему М<ихаила> П<авловича> приписывают необыкновенному свойству его брюха испускать ветры пиано и форте во всякое время и по востребованию. Особенное удовольствие М<ихаила> П<авловича> заключалось в чем: пойдут с Ростовцевым в кружок фрейлин, тот и перднет, оба давай оглядываться и осматривать фрейлин, как будто стараясь угадать, которая согрешила.

У него и поговорки и стишонки собственного изделия были в том же роде. Я помню один из таких афоризмов, слышанный от самого автора:

Блажен, кто ничего не ищет

И день, и ночь покойно спит,

Кто в счастья не бздит,

В несчастья не дрищет..

Подобные стихи и анекдоты составляли утешение Ростовцева, но роль скоро изменилась; он не послушался собственного филологического совета и в счастья сильно стал бздеть и постоянно. Из одного стола канцелярии Великого князя возник особый штаб, который вскоре обратился в Департамент, а начальник штаба в министра. В палатах его завоняло ужасно, так что я перестал к нему ездить. Шарлатанство егонепомерную дерзость. Допущенный и в Комитет министров и в Главное Правление Училищ, он совался во все со своими суждениями и осуждениями, так что Норов перестал ездить и заставил Государя на очной ставке дать Р<остовцеву> реприманду. В Г<осударственном> Совете он стал громко, в противность порядка, рассуждать о деле, прежде поставления о нем вопросов, и заставил Блудова, временно председательствовавшего, со стыдом привести его к порядку.

Я не ставлю в упрек страшнейшего непослушания; слабоумные его братья и родственники все занимали видные и почетные места. Но это была общая беда нашего века.

Независимо от душевных недостатков, Ростовцев был еще и заика. Это послужило поводом к забавным столкновениям. Однажды отец пришел просить о помещении сына в корпус. На беду, он был также заика. Выходит Р<остовцев> прямо к нему:

– Что...о Ва...ам угодно?

Тот страшно обиделся. Заикнулся, кривился, кривился, покраснел как рак, наконец выстрелил – "Ничего!" и вышел в бешенстве из комнаты.

В другой раз служащий по армейскому просвещению офицер пришел просить о награждении, но Р<остовцев> не находил возможным исполнить его желание.

– Нет, почтеннейший! Этого нельзя! Государь не согласится.

– Помилуйте, Ваше Превосходительство. Вам стоит только заикнуться.

– Пошел вон! – загремел Ростовцев в бешенстве; и таких случаев было очень много.

В последнее время Р<остовцев> в значении своем сильно замкнулся, но чем разрешится судорога – неизвестно. Льстецы выдумали ему юбилей; собирали добровольное приношение не менее 25-ти р<ублей> серебром; говорили речи, читали стихи, ждали от Государя небывалой награды; наконец принесли собственно весьма, говорят, лестное письмо и литографированный портрет В<еликого> К<нязя> Михаила Павловича.

На старости Хвостов до того ослабел, что его в порядочных домах перестали принимать, потому что он во время беседы, сам того не чувствуя, мочился под себя и пачкал кресла. По этому случаю Соболевский, а может быть, и Пушкин сказал:

Хоть участие не поможет,

А все жаль, что граф Хвостов

Удержать в себе не может

Ни Урины, ни стихов.

Ковальков влюбился в девицу Адлерберг. Дев<ица> влюбилась в Ковалькова. <Решили> жениться. Но, увы, родители и слушать не хотят. Драма приходит к третьему акту – совершенному отчаянию. Любовники не могут жить <вместе>, следовательно надо умереть. Ковальков же, кстати, знал и яд, от которого смерть легка. Назначают день. Нанимают квартиру. Съезжаются.

С утра еще Ковальков написал записку и послал ее с верным человеком к знакомому аптекарю.

– Да зачем же барину яд?

– Яд? Будто яд? Верно мышей разводить; только у нас и мышей-то нет...

– Верно мышей... – сказал аптекарь с улыбкой и отпустил лекарство.

Но когда барин спрятал лекарство в карман, лакей перепугался <и пустился> за ним. Барин заехал за невестой. Та по сигналу вышла. Поехали. Лакей знал куда, случайно. Испуганный бросается к родителю своего барина и объявляет обо всем, тот посылает его

же к родителям девушки. Все спешат в указанное место. Но пока нашли дом, квартиру, несчастные успели отравиться, выбросили ключ за окно и предались предсмертным восторгам, спеша перед переходом в Горний <мир> насладиться замным. Но яд слишком скоро подействовал: перед смертью заставил их испытать земные страдания и очиститься от земных излишков. Комната исполнилась земного смрада. Между тем двери взломаны. Преступники... (не разобрано – Е.К.), страшно охая, продолжают очищаться. Нечего делать, хитрость аптекаря доставила им супружеское счастье.

В обществе, где весьма строго уважали чистоту изящного, упрекали Гоголя, что он сочинения свои испещряет грязью самой подлой и гнусной действительности.

– Может быть, я и виноват, – отвечал Гоголь, – но что же мне делать, когда я как нарочно натываюсь на картины, которые еще хуже моих. Вот хотя бы и вчера, иду в церковь. Конечно, в уме моем уже ничего такого, знаете, скандального не было. Пришлось идти по переулку, в котором помещался бордель. В нижнем этаже большого дома все окна настезь; летний ветер играет красными занавесками. Бордель будто стеклянный; все видно. Женщин много; все одеты будто в дорогу собираются: бегают, хлопчут; посреди залы столик покрыт чистой белой салфеткой; на нем икона и свечи горят... Что бы это могло значить? – У самого крылечка встречаю пономаря, который уже повернул в бордель.

– Любезный! – спрашиваю. – Что это у них сегодня?

– Молебен, – покойно отвечал пономарь. – Едут в Нижний на ярмонку; так надо же отслужить молебен, чтобы господь благословил и делу успех послал.

Матушка ужасно боялась большого света, и к сроку выпуска из Екатерининского института приехала в Петербург. Взяв дочку из института, пересадила прямо в тарантас и отправилась в деревню на почтовых. Ямщики не были посвящены в виды матушки и, закладывая на станциях лошадей, изъяснялись между собою не обиняком.

Проехав несколько станций и вслушавшись в ямщицкую терминологию, добродетельная дочь спросила у добродетельной матери:

– Что это, матушка? Я <о> такой матери никогда не слыхала.

– Какой душечка?

– Ебенной, матушка! Вот Крестная мать, Посаженная мать, Родная мать, знаю, но Ебена мать, право, не знаю, что значит.

– Это значит, моя милая, как бы тебе объяснить... просто, так сказать, это ни больше ни меньше, так знаешь – дальняя родственница...

– Вот что! – и поехали, и приехали в деревню, и отдохнули, и поехали с визитами к соседям, из коих многие состояли с ними в дальнем родстве.

Подоспели именины чьи-то; собралось все соседство; загудела доморощенная музыка; начались танцы. Наша барышня стоит в паре с усатым драгуном; тот в ожидании очереди

любезничает. Вдруг приехала какая-то дама; расцеловавшись с сидевшими дамами, пошла целоваться с танцующими.

– Кто эта дама? – спросил драгун у нашей барышни.

– Ебена мать.

– Как-с?

– Что такое???

– Ну да-с! Ебена мать, дальняя родственница.

У нас в России остряков больно не много. Язык ли наш или ум тому причиною, решить трудно. Есть и такие, которые при совершенно ординарных способностях обладали умением рассказывать несколько анекдотов, но зато эти немногие анекдоты они рассказывали в совершенстве. К числу таких рассказчиков в наше время принадлежали князь Эристов и Фед<ор> Серг<еевич> Чернышев.

Кн<язь> Эристов, бывший впоследствии генерал-аудитором морского ведомства, рассказывал всегда одни и те же истории, показывал одни и те же штуки. Вся прелесть историй заключалась в манере рассказа. Содержанием они не были богаты. Кажется, нижеследующая может держаться в этом собрании.

На стоянке в Польше Эристов присватался к молодой дочери своей хозяйки; дело пошло на лад, но к решительному увенчанию страсти представлялись два препятствия. Матушка спала за перегородкой, а пудель Азорка не отходил от молодой хозяйки. На крепость сна матушки понадеялись, Азорку с вечера как-то убрали и припрятали, и работа пошла благополучно. Но в самом разгаре дела кровать ли изменять стала или– Зося! что это там у тебя?

– Не знаю, матушка, видно Азорка чешется...

– Проклятый пес! Спать не дает.

Притихли, успокоились, старуха захрапела, Эристов давай кончать, но не успел кончить, за перегородкой послышался шорох; спичка зашипела, комната осветилась, Эристов успел влезть под кровать и съежиться... Вошла старуха со свечой.

– Азорка? Где ты?

"Лежа под кроватью, – так рассказывал Эристов, – я должен был играть роль пуделя и отвечать старухе. Вот я давай об пол хуем: стук, стук, стук!"

– Поди сюда, Азорка!

"Как бы не так! Я только хуем об пол стук, стук, стук!.."

– Ну поди же сюда! Хочешь цвибака (сухарь)?

"А я стук, стук, стук..."

– Плут, знает, что я его поколотить хочу.

– Он не вылезет, мамочка, из-под кровати...

– Да я и сама это вижу. Ну, постой, дам я ему сухарь, авось успокоится.

И я давай грызть под кроватью прескверный сухарь, постукивая в лад хуем, пока матушка опять не захрапела.

Когда в Государственном Совете читали проект учреждения министерства государственных имуществ, князь Меншиков, выслушав заключение, в котором граф Киселев красноречиво изобразил блистательную будущность, строгий порядок и совершенное благосостояние государственных имуществ, и желая подразнить министра финансов, у которого отняли этот департамент, встал и, подойдя к графу Канкрину, сказал ему тихо:

– Граф! То-то будет теперь чудесно. Как вы думаете?

– Ваша светлость! – отвечал Канкрин. – Время покажет. А по моему: дело <одно> щупать, дело другое есть.

– Кто из русских генералов теперь самый сильный? Я не знаю ни одного силача.

– А я так знаю, – сказал Меншиков.

– Кого же?

– Лидерса.

– С какой стати?

– Да уж верно силен, когда на хуе по пуду (Попуду) носил.

Госпожа Попуда, жена грека, одесского негоцианта, любовница Лидерса.

Теперь иной господин сам на лакея смахивает, а держит двух-трех слуг, а давно ли одна кухарка управляла кухней и хозяйством и гардеробом целого семейства; во многих домах совсем без мужской прислуги обходились. Так было и у знаменитого скульптора Ив<ана> Петр<овича> Мартоса, отца многочисленного семейства. Дуняша, горничная, милостивая дева лет 25-ти, успевала исполнять по дому все работы; в том числе стирала каждое утро пыль в мастерской, что было нелегко, потому что там стояло много статуй и других скульптурных произведений.

В числе статуй был там и Геркулес, у которого, большей природы ради, причинное место листиком прикрыто не было.

Встал Мартос поутру, пришел в мастерскую, глядит, что это с Геркулесом случилось?

- Дуняша, эй, Дуняша! Это что такое?
- Виновата, батюшка! Право, нечаянно. Полотенцем махнула, штучка-то и отскочила.
- Ну отскочила, так отскочила. Зачем же ты ее приклеила, да еще стоймя?
- А то как же?
- Она висела!
- Шутить извольте! Я висячей никогда не видела. Всегда стоймя.

- Маменька! Что это у рака под хвостиком?
- Яйца, душенька, яйца.
- Что же это значит?
- Это значит, моя милая, что этот рак – самка.
- Вот что! Ну, теперь я понимаю. Значит, и гувернер наш самка. И у него под хвостиком яйца.

Герой Севастопольский, потеряв правую руку, нашел опору в кругу женщин. Женился. Но, увы, с одною рукою не мог вставить машинки, а жена никак не решалась помочь, ложного стыда ради. Теща тотчас заметила, что у молодых что-то не ладно; на допросе дочь призналась.

– Ах (слово не разобрано – *Е.К.*)... – сказала огорченная мать. – Так у вас никогда ничего не выйдет. Ну, сама посуди, как ему с одною рукою управиться; и что тут такого; у моего мужа обе руки были, а я всегда ради скорости сама вставляла.

Не без труда, однако же наконец убедила.

– Ну, увольте! так и быть! Вставить вставлю; но уж вынуть, извините, как вам будет угодно, назад ни за что не выну.

Одна разгульная барыня, еще довольно свежая и благообразная, вместе с взрослою и миловидною дочерью завели трактир, а чтобы дать публике понятие о двойном их промысле, наняли квартиру в большом доме, на углу повесили вывеску.

ЗДЕСЬ ОБЕ	ДАЮТ
-----------	------

Магушка с дочкой приехали летом в Петербург и не оставили как следует осмотреть все достопримечательности, в том числе и музей Академии наук, где они видели кости допотопных животных, яйца огромных птиц и так далее.

Вечером того же дня они поехали в Павловск слушать оркестр Штрауса и, разумеется, восхищались, потому что у нас не таланты, а имена составляют достоинства. За что русского вытолкали бы в шею, то в иностранце, имени ради – нравится, приводит в восторг. И неистовые кривлянья голодного капельмейстера сопровождались громкими рукоплесканиями нашей добрейшей публики: *Bravo, Strauss! Bravissimo!* Многие кричали даже *Ура!*

Дочь, посмотрев на эту фальшивую знаменитость, спросила у матери:

– Это молодой Штраус?

– Молодой! Это сын...

– Это и видно, что еще очень молод.

– Это почему?

– Потому что яйца еще не так велики, как те Штраусовы яйца, что мы видели сегодня в Академии.

Набожный муж молодой жены имел привычку на сон грядущий больно долго молиться в самой спальне и тем сильно дразнил нетерпение супруги.

Молился он однажды, некоторые слова возглашая громко, в том числе *Господи, укрепи и наставь!*

– Тфу, какой несносной, – сказала жена. – Проси только, чтобы укрепил, а я уже и сама наставлю.

Х. ухаживал за госпожой Z. После обеда, понежившись с мужем, госпожа Z. вздумала переодеться и, продолжая беседовать с мужем, уселась к туалету чесать голову в дезабилье; она и не заметила, что упругие холмы ее груди выпали из рубашки и весело <уперлись> в зеркало. Вдруг двери растворяются, входит лакей с блюдом роскошных персиков. Неосторожно взглянув в зеркало, лакей совершенно растерялся.

– Ты тут зачем? – закричал муж, поднимаясь с кушетки.

– Г<осподин> Х., – отвечал тот, запинаясь, – прислал, барин, блюдо самых спелых титек...

– Ах ты, мерзавец! Вот я тебя!.. – возопил в бешенстве супруг. А жена, желая его успокоить, унять гнев, но не менее лакея взволнованная и подарком и сценой, в таком... (слово не разобрано – Е.К.) замешательстве сказала:

– Ах, душечка! Как ты все принимаешь к сердцу! Конь и о четырех хуях спотыкается.

Уваров в молодости состоял в любовной связи с Корсаковым, впоследствии князем Дондуковым-Корсаковым, и стругал последнему задницу.

On revient toujours

á ses premiers amours

и к<князь> Д<ондуков>-К<орсаков> не только без всякого основания и прав попал в попечители С<анкт>-Петербургского университета, но и в вице-президенты Академии наук, что ему и вовсе было не к лицу. По этому случаю П<ушкин>, а может быть, и Соболевский сказал:

В Академии наук

Председает князь Дундук.

Говорят, не подобает

Дундукам такая честь.

Отчего ж он председатель?

От того, что жопа есть.

Для дам последний стих читается так:

От того, что может сесть.

(Кукольник 1850-е гг.: 1-123).

	© 1995 by Efim Kurganov Department of Slavonic and Baltic Languages and Literatures, University of Helsinki	
--	--	--